

ИННОКЕНТИЙ
БЕЛОВ

ГРЕЙ
КОВАЧ

БИЛЕТ ДО КОНЕЧНОЙ

ПОЕЗД В СОБИБОР



18+

Иннокентий Белов

**Билет до конечной.
Поезд в Собибор**

«Автор»

2026

Белов И.

Билет до конечной. Поезд в Собибор / И. Белов — «Автор»,
2026

В 1943 году поезд идёт в Собибор, везя две тысячи обречённых, среди которых Александр Печерский, будущий организатор восстания в лагере смерти. В офицерском купе в это же время приходит в себя советский следователь, оказавшийся в теле эсэсовца и знающий будущее. До конечной остаётся сорок минут, там первые восемь сотен узников из минского гетто сразу же отправятся в газовую камеру, поэтому раздумывать некогда. Решив спасти эшелон, наш герой сходит с рельсов истории... В основу романа положен реальный подвиг советского офицера Александра Ароновича Печерского — организатора восстания в лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года.

© Белов И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Грей Ковач, Иннокентий Белов

Билет до конечной. Поезд в Собибор

Глава 1

Меня зовут Алексей Николаевич Руднев, мне восемьдесят шесть лет, последние сорок из них я хожу на выставки о войне так, как другие ходят на кладбище проводить родных.

Я хожу проводить своих знакомых преступников и проверить, все ли таблички правильно расставлены на месте.

Сегодняшняя выставка называется «Альбом преступника». Молоденькая сотрудница музея ведёт меня под локоть по залу и говорит, что для них мой визит большая честь.

Ведь я основной консультант, который занимался подобным делом ещё тогда, когда никакого альбома в помине не существовало. Когда существовали только протоколы, показания выживших и три мутные фотографии из служебного личного дела.

Я киваю, потому что кивать легче, чем объяснять, что честь тут ни при чём. Я пришёл посмотреть в лицо человеку, которого искал всю жизнь и который погиб, когда мне было девять.

Если, конечно, верить официальным документам. Документам я не верю с тысяча девятьсот шестьдесят второго года. С того самого дня, когда лично снял отпечатки пальцев у «погибшего под Кёнигсбергом» шарфюрера СС, торговавшего пивом в Гамбурге под фамилией покойного шурина.

Иоганн Ниманн, комендант лагеря смерти Собибор. Убит четырнадцатого октября сорок третьего года восставшими узниками первым из офицеров обычным плотничьим топором. Убит в портновской мастерской, куда пришёл примерять кожаную куртку, отнятую у заключённого.

«Красивая смерть, незаслуженно красивая для негодяя, в ней есть сюжет, а он не заработал даже сюжета».

Я знаю о нём всё, что можно узнать из бумаг. Программа умерщвления инвалидов, когда учился убивать на самых беззащитных, как все они. Белжец, потом Собибор. Подпись на актах, аккуратный почерк, представление к очередному званию за, цитирую, «особые заслуги» перед рейхом. Из бумаг человек выходит плоским, как сама бумага, все сорок лет я держал в голове плоского Ниманна, как какую-то функцию с усами.

Зато теперь на стенах висит его семейный альбом, который наследники передали музею, поэтому функция обрастает мясом и кожей.

Вот он верхом на гнедой лошади, сама посадка любительская, но старательная, спина прямая, фуражка чуть набок. За его плечом видна рампа лагеря, куда приходили поезда смерти. Вот он на террасе офицерского казино, в руке кофейная чашка, даже по тому, как оттопырен мизинец, ясно, что человек старательно следил за манерами. Вот он дома, в служебном отпуске, жена, двое детей, штaketник, увитый плющом, у ног собака. Хорошая семья, любительский снимок чуть смазанный, потому что младший сын вертелся.

Вот он смеётся по-настоящему, с зажмуренными глазами, с запрокинутой головой, рядом смеются ещё трое.

У одного из троих я в шестьдесят восьмом принимал показания в западногерманской тюрьме, где тот отбывал четыре года за соучастие в убийстве двухсот пятидесяти тысяч человек. По сто семьдесят убитых на каждый день срока, так я тогда посчитал.

«Арифметика — вредная привычка следователя».

Сотрудница музея что-то говорит на немецком про уникальность материала, про то, что подобные альбомы разрушают миф о «монстрах» и показывают банальность зла. Девочка видно, что умная, старательно читала правильные книги.

Я не спорю, я вообще давно не спорю, жена умерла девять лет назад, дочь звонит из Новосибирска по воскресеньям, внуки присылают фотографии правнуков. На споры у меня осталось слишком мало собеседников и слишком мало пульса.

Я стою перед смеющимся Ниманном и чувствую, как в левой стороне груди поворачивается незримый ключ.

Не страх, не гнев даже, ведь за гневом я слежу с той же аккуратностью, с какой Ниманн следил за своими манерами. Иначе в нашей работе нельзя, потому что гнев слишком сильно путает почерк.

Здесь другое. Простая, холодная, старческая обида на несправедливое устройство мира.

«Он пил кофе, он гладил лошадь. Он смеялся с зажмуренными глазами в трёхстах метрах от газовой камеры, теперь никакой суд, никакой топор, никакая моя жизнь, потраченная на архивы, не отменит того, что ему было хорошо. Ему было хорошо, на фотографии такое видно лучше всего».

Ключ в груди доворачивается до упора.

Пол наклоняется мягко, как палуба сильно качающегося корабля. Нужные таблетки в левом кармане пиджака, рука знает дорогу, но рука просто не успевает туда добраться. Сотрудница вскрикивает где-то очень далеко и очень тонко, голоса сливаются в общий гул, свет сужается в круг, в этом круге остаётся последнее, что я вижу в своей жизни.

Он смеётся...

Стучат колёса.

Стучат на стыках двойным ударом, с оттяжкой, как стучали всю мою жизнь и никогда не значили ничего, кроме дороги.

Железной дороги.

Сейчас я слушаю их, не открывая глаз, потому что с закрытыми глазами ещё можно считать с большим основанием, что подо мной каталка. Что меня везут по больничному коридору, просто колеса каталки стучат по неровным стыкам пола, что сейчас будет потолок в известке и лицо врача.

Потом я понимаю, что мне не больно.

Вот такое по-настоящему страшно. Восемьдесят шесть лет, тот возраст, когда тело разговаривает с тобой непрерывно всем подряд. Коленом, поясницей, левой стороной груди, где сорок лет живёт жаба и давит, когда ей только вздумается. Тело ворчит, ноет, напоминает о себе, ты привыкаешь к подобному разговору, как к радио на кухне. Но сейчас оно как-то слишком подозрительно молчит. Молчит целиком, от затылка до пяток, в подобном молчании слышно такое здоровье, какого я не помню с курсантских времён.

Открываю глаза.

Потолок не больничный. Низкий, крашеный, с жестяным плафоном лампы, которая покачивается в такт стыкам и гоняет по стенам жёлтый круг света. Стены обшиты аккуратной деревянной рейкой.

«Окно затянуто чёрной шторой, явно реальная светомаскировка», — отмечает кто-то внутри меня раньше, чем я успеваю подумать подобное слово.

Полка напротив, столик у окна, на столике стоит портфель, фуражка и стакан в подстаканнике, но подстаканник явно не наш, незнакомо витой, с чужим вензелем.

Сажусь, тело выполняет подъем одним движением, без какой-то подготовки, без всяких предварительных переговоров. Просто берёт и садится, от лёгкости моего движения меня мутит сильнее, чем от любой боли.

Руки?

Смотрю на свои руки, но это не мои руки. Мои в пигментных пятнах, с раздутыми суставами, с ногтем на большом пальце, треснувшим ещё в Караганде в пятьдесят девятом и навсегда криво сросшемся. Эти ладони молодые, ровные, с коротко и чисто стриженными ногтями, с бледной полоской от кольца на безымянном. Ухоженные руки человека, который работает головой и еще своей подписью.

На рукаве — серо-зелёное сукно. На обшлага чёрная лента, по ленте серебром вышито готическими буквами слово, которое я читал в делах тысячу раз. От которого у меня до сих пор, до сих пор через шестьдесят лет, холодеет затылок.

Зондеркоманда «Собибор».

Дальше я действую не потому, что внятно понимаю происходящее, а потому, что сорок лет службы отрастили во мне второго человека, этот второй просыпается всегда первым. Он не задаёт вопросов «как» и «почему», он задаёт вопросы «где», «когда» и «что у противника». Философией займёмся позже, если оно еще будет, это самое «позже».

Китель на мне расстёгнут, потому что спал одетым, из-за такого воротник немного примят. В правом нагрудном кармане лежит удостоверение. Достая и разворачиваю его к свету лампы.

С фотографии на меня смотрит человек с выставки.

СС-унтерштурмфюрер Иоганн Ниманн. Дата рождения — четвертое августа тринадцатого года. Печать, подпись, отметки. Я держу документ ровно, не дрожащей рукой, потому что рука вообще не дрожит, у этой руки прекрасные нервы. Потом поднимаю взгляд на чёрное стекло окна, где поверх шторной щели плавает мое отражение.

«Из стекла на меня смотрит он же!» — такое придется признать.

Молодой, волосы зачёсаны назад, прижаты сном с одного бока. Правильное, даже приятное лицо, вот что самое поганое. Лицо у него приятное, такому лицу продавщицы взвешивают без очереди по первой просьбе. Я поднимаю руку, мое отражение поднимает руку. Открываю рот, оно открывает рот.

В детстве, в оккупацию, я видел, как соседка тронулась умом после того, как у неё на глазах повесили мужа, тогда он попал в число заложников. Она подходила к зеркалу и здоровалась сама с собой. Теперь я понимаю её лучше, чем хотелось бы.

— Значит, так, — говорю я себе. — Значит, так.

Либо я умираю на полу музейного зала, сейчас проходит просто последний фейерверк коры головного мозга. Но тогда торопиться совсем некуда, поэтому просто досмотрим представление.

Либо я сошёл с ума, тогда торопиться тем более некуда, в жёлтом доме расписание вполне щадящее.

Либо, тут второй человек во мне поднимает палец, либо это правда, тогда времени у меня чудовищно мало.

Потому что поезд идёт, а поезда данного преступного сообщества ходили только в одну сторону. Возвращались с живым товаром к месту уничтожения или еще только ехали за ним.

— Проверяется такое просто.

За стеной, уже не в моем купе, дальше через тамбур, через грохот колес живут звуки. Прикрываю глаза и разбираю их, как разбирал когда-то плёнки прослушки, очень тонкими слоями.

Верхний слой — колёса. Под ним слышна немецкая речь, двое, лениво, со смешком, но слов не разобрать. Зато интонацию разобрать можно, обычная скука конвоя, разговор о бабах или о жратве. Ещё ниже слышна собака, крупная, влаивает коротко, именно по служебному. А в самом низу, подо всем подобным слышен звук, который я слышал только в показаниях свидетелей десятки раз, пусть разными словами, но все слова были про одно.

Стучат в стены вагонов. Глухо и вразнобой из-за перегона кулаками и ладонями там впереди, в этом же составе. Люди в запертых товарных вагонах стучат в стены, подобный звук не похож ни на что на свете, потому что в нём нет ритма. Ритм есть у надежды, здесь просто ладони бьют о толстые доски.

«Их везут без еды и почти без воды, потому что незачем больше кормить!» — вспоминаю я логику нацистов.

Мне девять лет, оккупация, станция Клинцы. Мимо нашего забора гонят колонну пленных, мать выносит к дороге хлеб. Полбуханки, всё, что есть в доме, но не успевает даже добросить. Я помню, как она лежала у забора до вечера, потому что подходить не разрешали. Еще помню конвоира, который потом попросил у соседей молока и сказал «данке». Вежливый был человек. Я искал его четырнадцать лет после войны, только не нашёл, не дожил он до меня. Легко умер своей смертью в собственной постели, до сих пор единственное дело, которое я считаю навсегда проигранным.

Открываю глаза.

«Всё, вопрос снят, кора головного мозга такого не сочиняет, явно у неё вкус получше», — дальше работаю быстро и по порядку, как учили, сначала документы, карта, время, силы сторон.

Портфель на столике не заперт, уже спасибо. Внутри все аккуратно по-немецки разложено, папка с перепиской, вторая папка — сопроводительные документы транспорта, бланки с орлом, копия телеграммы. Читаю по диагонали, выхватываю главное. Транспорт из Минска, почти две тысячи человек. Охрана — конвойная команда при эшелоне плюс вахманы, численность прописью, старший конвоя — унтершарфюрер Грот.

«Тоже СС, значит. Наверно, большинство из лагеря Травники, где они обучались охране и массовым убийствам».

Станция назначения обозначена невинно, просто тупиковой веткой, но мне не надо ее даже расшифровывать. Я знаю данную ветку наизусть, я по ней пальцем по карте водил ещё тогда, когда нынешние музейщики не родились.

Собибор.

И еще есть дата на телеграмме. Двадцать третье сентября тысяча девятьсот сорок третьего.

Вот теперь мне нужно сесть, я сразу сажусь, потому что ноги, молодые, здоровые, отличные ноги вдруг решают, что с них хватит.

Минский транспорт. Сентябрь сорок третьего. В этом поезде едет Печерский.

Я знаю этот эшелон, как знают старую квартиру, знаю на ощупь, в полной темноте. Я собирал его по крупницам двадцать лет — показания, списки, немецкие путевые документы. Потому что через три недели после этого поезда случится одно из самых успешных восстаний в лагере смерти за всю войну. Поднимет его именно лейтенант Красной армии Александр Аронович Печерский. Который сейчас, вот прямо сейчас, стоит или сидит в темноте товарного вагона за две стенки от меня и ещё не знает, что когда-то войдёт в учебники.

Зато я знаю, ведь именно с ним пил чай в Ростове в семьдесят втором. У него было сухое лицо и спокойные руки, на мой вопрос, как он решился, он пожал плечами и сказал:

— А что, было из чего выбирать?

Смеюсь. Коротко, один раз, зато звук собственного смеха, пусть даже чужого из чужой груди, обрывает меня лучше пощёчины.

Так, теперь инвентаризация. Что у меня есть?

Есть тело тридцати лет, здоровое, сильное, не моё. Есть лицо и мундир, при виде которого охрана этого поезда вытягивается, а люди в вагонах, если бы видели, то понимали бы, что едут правильно по расписанию в свою неизбежную смерть.

Есть удостоверение коменданта лагеря, есть портфель с подлинными печатями, есть кобура. Расстёгиваю ее, вижу вальтер Р38, магазин полный, очень ухожен, хозяин любил оружие. Есть язык, немецкий у меня с детства и на всю жизнь, спасибо оккупации и особому факультету, акцент восточнопрусский, хорошо поставленный, любой преподаватель бы прослезился.

Во внутреннем кармане кителя нащупал бумажник. Тут фотография, молодая женщина со строгим пробором, двое детей, штaketник, собака. Та самая карточка, я видел её под стеклом, с инвентарным номером музея, за час и за восемьдесят шесть лет до этой минуты.

Еще есть начатое письмо, сложенное вчетверо:

«Дорогая моя...» и дальше три строки о погоде и посылке. Почерк ровный, с наклоном, заглавные с завитком. Кладу письмо на столик и трижды расписываюсь на обороте телеграммы, глядя на его подпись в удостоверении. Со второго раза получается похоже, с третьего — уже хорошо.

«Профессия, товарищи, не пропивается».

Чего у меня нет?

Нет никакой памяти этого тела. Я не знаю, как Ниманн здороваётся с конвоем, курит ли он, какой рукой бреется, кто из охраны с ним запанибрата и о чём он шутил вчера вечером с тем же унтершарфюрером Гротом. То есть Ниманн шутил, а шарфюрер обязательно смеялся. Каждый человек в этом поезде знает Ниманна лучше меня. Любой разговор длиннее трёх фраз для меня минное поле. И ведь совсем нет времени, судя по документам и по ходу состава, до того узла, где эшелон заворачивают на лагерную ветку, остаётся всего ничего.

Сколько именно — пока не знаю, вот где сейчас главная дыра в планируемой мной обороне.

И ещё у меня нет права на первое, что просится в руку.

Ведь просится вальтер, честно скажу, очень просится. Сажу на жёсткой банкетке в форме преступной конторы, в коже человека, чьи фотографии висят в музее моей смерти. Поэтому самый простой, самый чистый выход лежит в кобуре и весит восемьсот граммов. Одно только решительное движение и никакого Ниманна больше нет, выйдет в расход досрочно, с опережением графика на три недели.

Стук из вагонов проходит сквозь стены. Ладони о доски, без ритма.

Убираю руку от кобуры.

«Дёшево, товарищ Руднев. Прибить Ниманна успеют без тебя, его очередь, между прочим, уже расписана судьбой. Портновская мастерская, пожарный топор, всё согласовано историей», — напоминаю себе.

И вот на слове «историей» я спотыкаюсь, поэтому следующие полминуты сажу неподвижно. Потому что арифметика, вредная моя привычка, разворачивает передо мной задачу целиком, во всей её мерзости.

Смотрите, что получается. Через три недели в этом лагере случится восстание, редчайшее в своём роде и одно из самых успешных, я знаю его наизусть час за часом. Поднимет его человек, который едет сейчас за несколько стенок от меня. Лагерь после восстания немцы несут, просто сровняют с землей, засадят соснами, максимально спрячут. Потому что машина уничтожения, о которой настолько хорошо узнали, работать уже не может. То есть в той истории, которую я помню, данный поезд вскоре въезжает в ад, но через три недели ад закрывается навсегда, оплаченный жизнями тех, кто въехал.

«Если теперь я останавливаю поезд? Спасаю на какое-то время от уничтожения две тысячи жизней и что я делаю этим же движением?»

Я вынимаю из лагеря будущее восстание. Печерский не войдёт в ворота, лагерное подполье не получит командира, поэтому четырнадцатое октября не наступит. Лагерь, который должен был умереть через три недели, тогда останется жить. Хорошо отлаженный, работающий,

голодный, поэтому следующие эшелоны, которые уже стоят под погрузкой где-то на запасных путях Европы или СССР, пойдут в его расписание как ни в чём не бывало. Я спасу на время этих людей, но распишусь за смерть тех. Поимённо не узнаю никогда, но расписка будет тогда именно моя.

«В Собиборе уничтожат не четверть миллиона людей, а триста тысяч? Четыреста тысяч? Или половину миллиона?»

Вот она, настоящая цена вмешательства, никто мне её не скидывает. Любое действие здесь кого-то обрекает на мучительную смерть. Бездействие, впрочем, тоже, просто у бездействия почерк гораздо неразборчивей, удобно потом не узнавать своей руки. Подобным фокусом я сыт по горло, ведь сорок лет читал показания людей, которые «Просто ничего не сделали. Просто выполняли приказ».

Значит, задача ставится иначе. Не только «спасти эшелон». Спасти эшелон и взять на себя вторую половину работы, ту, которую я подобным спасением отменяю. Лагерь всё равно должен умереть, только раньше его убивали изнутри те, кого привезли. Ценой, о которой я читал с сухими глазами только потому, что следователю положены сухие глаза.

— Теперь очередь моя. Я заберу у истории этот поезд и верну ей долг лагерем.

Открыть вагоны поезда Ниманн может один-единственный раз в жизни, только сегодня, пока он живой, комендант лагеря и в нужном звании. Но подобной возможности данной мрази история не дала.

— Тогда дадим мы.

Но потом я вернусь, этим же лицом, по этой же ветке и навсегда закрою Собибор. Не через три недели чужими руками, теперь только своими новыми. И ещё гораздо раньше.

— Это не решение сцены, товарищ Руднев, запомни его правильно, это теперь твоя работа на войне. Вся, целиком, отсюда и до конца.

Прежде, чем строить какой-то первоначальный план, проверяю свой главный инструмент. Надеваю фуражку, четко по глазам, чуть набок, как на той фотографии с лошадьё, и уверенно выхожу в коридор служебного вагона.

В ближайшем тамбуре курит зевающий вахман из «травников», на нем чёрная форма, карабин за спиной, у него типичное круглое славянское лицо. Он именно из тех, кого зондеркоманда набирает по лагерям военнопленных, предлагая сменить постоянный голод, побои и безысходность на сытность, небольшую власть, руки по локоть в крови и настоящий карабин. Он сразу слышит открывшуюся дверь и видит меня, зато я тоже успеваю рассмотреть весь его путь от расслабившегося на долгом дежурстве часового до мгновенно преисполнившегося служебного рвения маленького человека.

Сигарета летит за дверь, спина каменеет, подбородок взлетает вверх, а в глазах — совсем не уважение к господину офицеру, совсем нет.

Там виден только страх, чистый и без примесей, отработанный страх человека, который видел, что бывает с теми, на кого мое лицо посмотрело внимательно.

Я смотрю на него ровно три секунды. Не потому, что мне что-то нужно от вахмана, а потому, что мне нужно знать, как все подобное работает.

«Работает быстро и безотказно, к концу третьей секунды у него дёргается кадык», — вижу сразу я.

— Weiter machen, — роняю я и возвращаюсь в купе.

Вот, значит, какой капитал оставил мне унтерштурмфюрер Ниманн. Не только печати, не только вальтер. Страх, годами накопленный, чужой, краденый у мёртвых страх. Зато сегодня я растрочу его весь, до последней копейки, на дело, от которого хозяина этого лица перевернуло бы в гробу.

— Гроба, впрочем, у него теперь не будет. Гроб теперь придётся заслужить мне.

План собирается из того, что есть, как всегда. Телефонный звонок в лагерь означает комиссию встречи на рампе, озверевших от накачки начальством вахманов с прикладами, ворота газовой камеры, тогда это конец. В лагере мне будет уже гораздо труднее кого-то спасти.

— Значит, звонка не будет. Значит, у эшелона по дороге появится причина остановиться. И причина такая, чтобы ни один человек в этом поезде не захотел спорить, а каждый захотел оказаться подальше и переложить ответственность на соседа. У этой конторы есть только один страх сильнее начальства, ведь я сам читал его в приказах, в циркулярах, в санитарных инструкциях.

Они боялись его до дрожи, до карантинных, до сожжённых деревень. Страшная болезнь, именно та, что не различает званий и не читает удостоверений.

В дверь вдруг стучат.

Два удара, короткая пауза, третий, звучит казённо, без подобострастия, но и без панибратства.

«Унтер просится зайти к офицеру по делам службы?»

Я сажусь к столу, вполборота, раскладываю перед собой бумаги, потому что человек с бумагами всегда выглядит на месте. Даже позволяю голосу быть хриплым со сна:

— Да.

Входит унтершарфюрер лет сорока, плотный, красное лицо человека, дружащего со шнапсом, на груди значок за ранение.

«Грот, надо полагать, спасибо папке, познакомились заочно», — бросаю я на него мимо-летный взгляд.

Он вскидывает руку, я отвечаю движением ладони от виска, уже экономным, немного даже брезгливым. Я подобную отмашку видел на сотне трофейных плёнок, у них у всех к третьему году войны нацистское приветствие стёрлось до подобного короткого жеста.

Грот докладывает: узловую прошли, семафор дали без задержки, в голове состава спокойно.

Дальше он произносит фразу, ради которой мне стоило умереть в музее:

— Через сорок минут будем на месте, герр унтерштурмфюрер. Прикажете телефони-ровать в лагерь с разъезда, чтобы готовили приём?

«Готовили прием? Заливали солярку в танковые дизеля? Сорок минут».

Второй человек во мне уже стоит у карты. Сорок минут — вот вся моя фора, отпущенная историей. Между этой банкеткой и лагерной рампой, между двумя тысячами мёртвых по расписанию и двумя тысячами живых вопреки ему.

Поднимаю глаза на Грота и говорю спокойно, скучно, как говорят о погоде люди, уставшие от чужой безалаберности:

— Отставить телефонировать. Сначала доложите мне, — пауза ровно такой длины, чтобы у него вспотела спина, — почему я узнаю последним, что в четвёртом вагоне тиф.

Надо отдать Гроту должное, он не переспрашивает с глупым видом — «какой тиф?». Он делает полшага назад, от меня, от окна, от четвёртого вагона сразу всем плотным телом, раньше всякой мысли, лицо его из красного мгновенно становится серым.

Тиф в транспорте — это строжайший карантин, это рапорты в три инстанции, это санитарный офицер, который будет копаться в его журналах. И самое главное, это вошь, которая не спрашивает номера партийного билета.

— Герр унтерштурмфюрер, я... при погрузке медицинский осмотр не...

— При погрузке? — я аккуратно, с заметной ненавистью ко всему остальному миру выравниваю стопку бумаг. — В Минске в июле сыпняк шёл по лагерям военнопленных волной, об этом писали в сводках, которые вы, разумеется, читали. Сегодня на перегоне мои люди слышали из четвёртого вагона характерный бред.

Ввернуть про своих людей будет очень кстати, ведь они должны у меня быть. То есть просто назначены мной.

— Если через сорок минут я подведу заражённый транспорт к рампе и поставлю под угрозу персонал зондеркоманды, писать объяснение в Люблин будем вдвоём. Хотите вдвоём, Грот?

Он не хочет. Очень не хочет, подобное видно по всему, по кадыку, по пальцам, нашедшим шов на галифе, по глазам, которые уже ищут, на кого данную беду можно переложить. Но не находят, конечно, ведь кругом ночь, под нами перегон, далекое начальство спит, а герр комендант вот он, не спит, смотрит спокойно и явно оценивающе. Но Грот быстро соображает, в конце концов, он старый служака, не он тут самый главный, есть кому отдать правильный приказ.

— Приказания, герр унтерштурмфюрер?

— Состав к рампе не подавать, — говорю медленно, прямо надиктовываю.

Пусть запоминает, пусть потом повторит слово в слово, мне нужно, чтобы повторил слово в слово.

— Перед лагерной веткой есть запасный путь у лесного разъезда. Остановка там. Оцепление по обе стороны полотна, к вагонам ближе двадцати метров не подходить, четвёртый вагон не вскрывать до моего личного распоряжения. В лагерь не телефонировать, до окончания санитарного осмотра о транспорте не знает никто. Это вопрос карантинной инструкции, отвечаю по нему именно я, как начальник эшелона. Старших постов ко мне с ведомостью через десять минут. Вопросы, Грот?

— Никак нет!

— Выполнять.

Дверь закрывается. Слушаю, как его сапоги уходят по коридору быстрее, чем пришли. Все же страх отличное топливо, жаль, нештатное, несколько секунд сижу неподвижно, глядя на чёрную штору.

За шторой, за стенками, за сорок минут отсюда стоит на насыпи лагерь, которого через три недели не должно быть. В вагоне за тамбуром едет человек, с которым я пил чай через двадцать девять лет. В зеркале тамбура живёт лицо, которому сегодня предстоит совершить единственный порядочный поступок за всю его служебную биографию.

Правда, совершить под моим чутким руководством и без всякого его согласия.

Состав вскоре тормозит, вздрагивает, лязгает сцепками, значит, машинист уже принял семафор на запасный путь.

Начали.

Глава 2

Разъезд называется по-польски, как-то слишком длинно, поэтому не называется никак.

Три пути, будка стрелочника с тёмным окном, штабель шпал, уборная и лес с обеих сторон, сосна вперемешку с ольхой. Стоит сплошной стеной, в двадцати шагах от полотна уже ночь без дна. Состав втягивается на запасный путь, шипит, лязгает от головы к хвосту, как остывающий зверь, и постепенно останавливается.

Тишина после долгой дороги оглушает, в ней сразу становятся слышны вагоны.

Не стук теперь, одни только голоса. Приглушённые, слитные, из-за дощатых стен, где-то плачет ребёнок, тонко и на одной ноте, где-то бормочет старик. Еще по всей длине состава ходит общий шелестящий звук, который делают две тысячи человек, когда внимательно прислушиваются. Они поняли, что мы почему-то стоим не на станции. Они везли себя в надежде до последнего перегона, где должны хоть как-то покормить и дать воды, измученные двухдневным переездом в страшной тесноте. Только глухой лес за стенами в подобные надежды никак не входит.

«Потерпите, — говорю я им беззвучно, застёгивая шинель. — Один час. Дайте мне час».

Схожу из вагона на насыпь, гравий хрустко подаётся под сапогом. Самый первый звук, который я произвожу на здешней земле в новой роли. Ночь стоит холодная, без ветра, над лесом висит обглоданный месяц. От паровоза тянет горячим маслом и мокрой окалиной, пар из-под цилиндров ползёт вдоль колёс, стелется по гравию, как дым от ладана на отпевании. По всей длине состава прыгивают конвойные, разминают ноги, кашляют, тут же вспыхивают в ладонях спички. Начинается обычная станционная возня, только никакой станции нет, есть только лес, и лес этот смотрит на нас со всех сторон миллионом чёрных стволов.

Грот подбегает с докладом раньше, чем я успеваю сделать десять шагов.

— Состав остановлен согласно распоряжению герра унтерштурмфюрера, охрана по местам, происшествий нет!

Докладывает он образцово, ест глазами, по одышке слышно, что бежал от самого хвоста. Служака, хороший служака, старательный, такие вернее всего стерегут и такие же вернее всего губят всё, что стерегут. Потому что старательность без ума — это просто скорость, с которой человек делает чужую ошибку.

«Но и про мой приказ не забыл вернуть, чтобы слышали все, что не он приказал остановить состав, — усмехаюсь я про себя. — Скоро тебе, Грот, станет вообще не до подобной ерунды!»

— Хорошо, — говорю я, не глядя на него, глядя на лес. Начальству иногда положено смотреть вдаль с умным видом.

— Освещение не разводите. Костров не жечь. С этой минуты, обершарфюрер, здесь карантинная зона, и всё, что в ней происходит, происходит по моей команде. Вопросы задавать можно, даже нужно. Понимаете, почему, обершарфюрер?

Обершарфюрер отрицательно мотает головой, молча ест меня глазами, пропитываясь мудростью начальства.

— Не задавший вопроса дурак опаснее задавшего, — любезно объясняю я ему.

— Никак нет... то есть так точно... — Он сбивается, потеет.

Прекрасно, сбитый с толку человек держится за приказы, как пьяный за забор. Не потому, что верит и понимает, а потому, что больше не за что держаться.

Первым делом — будка стрелочника. Иду вдоль полотна неторопливо, заложив руки за спину, начальство осматривает объект, начальству спешить вообще не положено. Стрелочника нет, глухая смена, значит, ему повезло, телефонный аппарат на стене есть. Снимаю трубку, но линия вполне живая, трубка вопросительно гудит. Достая из ножен личный эсэсовский кинжал

Ниманна, аккуратно, у самого ввода, срезаю провод и укладываю конец так, что в темноте обрыв не найдёт и связист.

«Авария на линии уже случилась. Война, проводам тоже тяжело».

Теперь снова арифметика.

По ведомости, которую принёс Грот, при эшелоне двадцать один человек: он сам, четверо немцев конвойной команды и шестнадцать вахманов. Плюс паровозная бригада, машинист с кочегаром из рейхсбанна, люди подневольные, в счёт огня не идут. Пулемёт один, на тормозной площадке в хвосте. Двадцать один ствол на почти две тысячи запертых, безоружных, измученных дорогой людей.

«Обычно этого хватает, вот что самое страшное в их нечеловечески продуманной системе — этого всегда хватало. Значит, к моменту, когда откроется первая дверь, двадцати одного здесь быть не должно», — решаю я.

Развожу их, как разводят подсудимых, поодиночке и по делу, чтобы каждый приказ звучал скучной служебной необходимостью.

Первым загружаю наряд на переезд. Старшим туда назначаю пожилого роттенфюрера с лицом сельского почтальона, такие не геройствуют и не думают, такие только исполняют. Шестерых вахманов ему, инструктаж на две минуты ровным голосом:

— Оцепить, никого не пропускать, особо следить за лесом — в районе отмечены банды! А, банды, роттенфюрер, работают ночью и по оцеплению бьют первым делом!

Он бледнеет ровно настолько, насколько мне нужно. Зато напуганный человек смотрит в темноту перед собой и не оглядывается на состав за спиной. Шестеро уходят по шпалам, фонарь их долго прыгает между рельсами, пока не растворяется, триста метров, самая дальняя ссылка сегодняшней ночи.

Дальше хвост состава, только тут работа тоньше, потому что в хвосте пулемёт, а пулемёт — единственная вещь на этом разъезде, которую я по-настоящему боюсь. Расчётом командует молодой шарфюрер с розовым, явно не воевавшим лицом, явно из тех счастливицов, кто в конвойные части попал по протекции, но очень подобным тяготится, ведь ему хочется настоящей службы в боевых частях.

Даю ему настоящую:

— Банды, шарфюрер, если ударят, то из леса, со стороны хвоста, где насыпь ниже. Здесь будет главное направление, поэтому держать его я могу доверить только пулемёту. Вы согласны?

Он согласен, он счастлив, впервые за войну его железка назначена главной. Он утаскивает пулемёт за хвост состава с такой гордостью, что мне на секунду делается его жаль. На секунду, не дольше, я хорошо помню, чей это поезд.

Четверых вахманов выдаю ему в оцепление, лицом в лес. У хвоста состава тифа нет, поэтому туда уходят охотно.

Двоих немцев — к паровозу, стеречь бригаду и следить, чтобы машинист сдуру не стравил пар:

— Возможно, придётся срочно уходить в карантинный тупик!

— Ещё двоих вахманов за водой к будке, с котелками.

Выбираю самых молодых, почти мальчишек, вечно голодных, эти будут греметь котелками у колонки долго и вдумчиво, потому что у воды можно покурить без начальства.

— Санитарная обработка потребует воды. Много воды!

Фельдшера при конвое нет и слава богу, фельдшер мне тут нужен, как прокурор на имениях.

Стою у служебного вагона и смотрю, как расползаются по темноте фонари — два к переезду, два за хвост, огонёк у паровоза, огонёк у будки. Пять минут назад двадцать один ствол

стоял кучей вдоль состава. Теперь они разведены по местам, где каждый видит свой кусок ночи и не видит остальных.

Теперь связывает их всех только один человек. Я сам, унтерштурмфюрер Ниманн.

Грота оставляю при себе. Во-первых, старший конвоя должен присутствовать при вскрытии — такой в конвойной службе положенный порядок. Во-вторых, пусть будет там, где я его хорошо вижу.

С ним остаются всего трое, немец-ефрейтор с автоматом и овчаркой, двое вахманов с карабинами. Четыре ствола у вагона, шесть — в пределах двух минут бега. Хуже, чем хотелось бы, но гораздо лучше, чем было до развода. Только больше разгонять уже нельзя, и так стволов слишком мало для того, что я собираюсь сделать.

— Который вагон с военнопленными? — спрашиваю я, глядя в ведомость, хотя ответ знаю из бумаг наизусть.

— Второй от хвоста, герр унтерштурмфюрер, — тут же докладывает Грот.

— Осмотр начнём с него.

Грот недоуменно моргает. В его картине мира тиф живёт в четвёртом вагоне, а не во втором от хвоста, поэтому начальственная логика делает у него на глазах сильно непонятную петлю. Я даю ему секунду помучиться, но все же объясняю, пусть раздражённо, через губу, как объясняют бестолковым:

— Пленные — солдаты. Половина прошла через лагерные эпидемии, у них глаз на сыпняк лучше, чем у любого нашего фельдшера. И явно лучше, чем у вас со мной вместе. Выделю из них рабочую команду для осмотра и обработки состава. Или вы предпочитаете лично войти в четвёртый вагон, Грот?

Грот никак не предпочитает. Грот смотрит на меня с огромной любовью, ведь начальство только что придумало, как сделать работу чужими руками. Самая родная, понятная, любимая мысль всякого конвоя на всех войнах человечества.

Идём вдоль состава. Сапоги по гравию, фонарь в руке ефрейтора выхватывает стыки, скобы, пломбы, номера мелом. Из щелей все время смотрят. Я никого сам не вижу, только чувствую, полосы темноты между досками живые, когда луч скользит по стене, темнота отшатывается. У пятого вагона на меня из щели смотрит глаз, всего один, на уровне моей груди, явно детский. Иду дальше, шаг у меня не сбивается, у этого тела отличные, послушные, тренированные ноги.

«Гроб придётся заслужить, — напоминаю я себе. — Работай, Руднев!»

Второй от хвоста. Пломба, засов, надпись мелом про численность, сорок восемь человек.

У этой двери я стою три секунды дольше, чем положено занятому офицеру, но надеюсь, что в темноте этого не видно. Мел на доске полустёрт дождями, цифру писали ещё в Минске, торопливо, с нажимом, крошка мела так и осталась в щели. Изнутри вагон молчит, но не спит, я слышу само молчание, оно плотное, дышащее, в сорок восемь пар лёгких. Они слышали шаги, фонарь, немецкую речь у своей двери и сделали то, что делают солдаты в плену, замерли и приготowiлись. К чему угодно приготowiлись. Грот рядом прикладывает к носу платок, тифозная легенда все-таки работает и на него. Сам смотрит на дверь с брезгливым страхом человека, который два года возит смерть, но до сих пор боится к ней прикоснуться.

Киваю ефрейтору:

— Вскрыть!

Лязг засова прокатывается по всему составу, состав сразу отвечает, шевелится, гудит изнутри, две тысячи человек слышат первую открывшуюся дверь.

Дверь с шумом уходит в сторону.

Из проёма плотно и тяжело выкатывается дух, в нем — пот, моча, карболка, дорога, на меня смотрят люди. Стоят вплотную, стеной, шурятся от фонаря, лица серые, скулы обтянуты, у переднего запёкшаяся ссадина через бровь.

Рядом с ним стоит пожилой, со старшинской повадкой, усы в седину, руки сложены на груди так, как складывают их люди, которым связывали руки и которые такое запомнили. Дальше совсем молодой, уши в коростах обморожения ещё с прошлой зимы. Но глаза у молодого горят таким чистым, беспримесным ожиданием драки, что старшина, даже не оборачиваясь, кладёт ему ладонь на грудь, мол, тихо пока, сынок.

Военная выправка не пропивается, как профессия, даже сейчас, после долгого плена и эшелона, они стоят не толпой. Стоят строем, старшие впереди, глаза у передних не испуганные. Только считающие, они считают нас, четыре ствола, офицер, овчарка, расстояние до кромки леса.

«Правильные глаза, с такими работать можно сразу», — понимаю я.

— Печерский, — говорю я негромко, по-русски, сразу слышу, как за спиной перестаёт дышать Грот, для которого эти звуки просто фамилия, названная эсэсовцем. — Александр Аронович. Ко мне.

Стена людей не двигается, но она мгновенно меняется, по ней проходит ток. Передние на четверть оборота смещаются, смыкаются, я понимаю — сейчас они его закрывают. Услышали имя из уст эсэсовца и тут же закрыли своего.

«Хорошие мужики, господа, какие же хорошие мужики».

— Осмотр состава! — продолжаю я скучным голосом, уже по-немецки, для Грота и ефрейтора. — Мне нужен старший рабочей команды! Грамотный старший команды, который хорошо понимает по-немецки!

И снова по-русски, тихо, только в темноту проёма:

— Саша. Из Ростова. Выходи. Времени нет совсем.

Он выходит сам, раздвигает своих ладонью, его пропускают так, как пропускают командира, с готовностью и с ненавистью к тому, куда он идёт. Я узнаю его сразу, хотя между этой ночью и нашим чаем ещё лежат двадцать девять лет и одна моя смерть. Сухое лицо, спокойные руки, взгляд, который берёт меня, форму, кобуру, фонарь, Грота — всё разом, одним движением, как объектив.

Семь секунд он смотрит на меня и все же решает, что я только провокатор.

Это правильно, это единственно правильное решение в его положении, если бы он решил иначе, я бы в нём разочаровался. Эсэсовец, говорящий по-русски и знающий твою фамилию, тогда просто спектакль перед ямой, так у них делалось, он про подобное знает лучше меня. Я вижу, как он выбирает одно из двух — умереть молча или успеть достать меня руками. Только достать в прыжке, про убить или ранить надежды нет.

На восьмой секунде я делаю то, чего провокатор не делает.

Разворачиваюсь к ефрейтору и приказываю:

— Рабочей команде — выйти! Построиться вдоль вагона! Конвою — отойти на пять шагов, не мешать осмотру! Овчарку пока заткнуть!

А сам, пропуская мимо себя первых спрыгивающих на гравий пленных, встаю к Печерскому вплотную, спиной к своим, говорю ему в лицо, тихо и очень быстро, по-военному:

— У вагона четверо, офицер — я, но я — свой. Грот с автоматом, ефрейтор с автоматом справа, двое с карабинами у двери. Шестеро в трёхстах метрах впереди на переезде, четверо и пулемёт за хвостом, двое у паровоза, двое у будки с котелками, всего двадцать один ствол при пулемете, но телефон уже обрезан. До лагеря смерти восемь километров, там нас ждут к рассвету, убивать евреев начнут сразу. По восемьсот человек за один раз.

Потом пауза в полвдоха:

— Я передам тебе пистолет. Начинаете, когда я сниму фуражку. Сначала эти четверо, потом паровоз. Пулемёт мой.

Он молчит. Люди спрыгивают на насыпь, строятся медленно, растягивая время, выигрывая мне и себе секунды. Они всё поняли раньше слов, по одному тому, что эсэсовский офицер стоит слишком близко и говорит слишком тихо.

— Кто ты? — спрашивает Печерский.

— Долго, — говорю я. — А что, есть из чего выбирать?

Не знаю, что решает дело, сама фраза, которую он скажет мне через двадцать девять лет. Или простой подсчёт, который он закончил раньше, после моих слов про лагерь смерти и первую партию смертников из этого эшелона.

«Терять нечего, вагон всё равно едет в один конец».

Он коротко опускает веки, теперь всё, наш договор подписан.

Дальше дело техники. Я громко, прямо заметно брезгливо приказываю «старшему рабочей команды» следовать за мной к четвёртому вагону для доклада о признаках болезни. Беру его рукой в перчатке за плечо, конвой пока видит привычную картину, офицер грубо тащит пленного. По дороге, в четыре движения, которые отрабатывают на особом факультете до автоматизма, вальтер уходит из моей кобуры под его лохмотья. Кобуру застёгиваю обратным движением, пустая застёгнутая кобура врёт не хуже полной.

У четвёртого вагона всё готовится само, ефрейтор с автоматом отстал на свои пять шагов и держит строй пленных, вахманы у двери смотрят на строй, Грот смотрит на меня. Я смотрю на часы Ниманна — хорошие часы, швейцарские, явно ворованные. И мысленно раскладываю ближайшую минуту по секундам, как раскладывал всю жизнь чужие алиби.

Странная вещь, эти последние секунды перед делом. Время в них не летит, а густеет. Я слышу всё разом и по отдельности, как переступает по гравию строй, сорок пар разбитой обуви. Как ефрейтор, все же нервничая, сдвигает автомат с плеча на грудь и обратно, подтягивает поближе к себе собаку. Как далеко в голове состава дышит паровоз, как у будки, ничего не подозревая, гремят котелками мои водоносы. Пленные стоят и не смотрят на меня, смотрят мимо, в лес, в темноту, куда положено смотреть уставшим людям. Только по тому, как разобраны их руки и развёрнуты плечи, мне видно, что строй уже заряжен будущим столкновением. Каждый знает своего немца. Печерский разобрал цели одними глазами, пока шёл, я даже не заметил, когда именно.

Где-то в лесу, нехстати и навсегда, кричит сова.

Снимаю фуражку и задумчиво провожу ладонью по волосам.

Дальше время перестаёт идти ровно, оно всегда так делает в бою, просто рвётся, как плохая киноплёнка. Печерский стреляет из-под тряпья, не вынимая руки, ефрейтор ещё стоит, а автомат уже падает отдельно от него. Овчарка тонко визжит, получив вторую пулю, значит, никто ее не будет резать ножом. Строй пленных не бросается, просто обрушивается молча, без «ура». Это сорок человек, которым нечего терять, подобное молчание страшнее любого крика. Вахмана у двери снимаю я сам ладонью в кадык, бью коленом в пах, добираю рукоятью его же карабина. Новое тело делает все подобное чисто, быстро, со вкусом. Где-то на заднем плане я успеваю отметить, что Ниманн, гадина, регулярно занимался спортом.

— Грот?

Вот Грот оказывается быстрее, чем положено человеку его комплекции. Он даже не пытается стрелять, он бежит, наклонясь, как только можно низко, вдоль вагонов к хвосту, к пулемёту, ещё орёт на бегу одно слово, самое опасное слово этой ночи:

— Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm!

Я вскидываю карабин, ловлю на мушку его спину между лопаток, но тут на спуске меня толкают. Не знаю кто, просто свои, пленные, волна, поэтому пуля уходит в доски. Зато Грот тут же ловко ныряет под вагон.

— Пулемёт! — ору я Печерскому по-русски, уже больше не играя никого. — Хвост состава!

Поздно.

От хвоста бьёт очередь, слишком длинная, неумелая, веером. Пулемётчик лупит в темноту, в сторону шума, темнота отвечает ему страшным криком. Пули идут по вагонам, по доскам, за которыми стоят плотную живые люди. Крик из вагонов, вот что я буду слышать потом ночами, а не выстрелы. Выстрелы звучат, как просто выстрелы.

Мы бежим на пулемёт втроём — я, Печерский и высокий пленный со ссадиной через бровь, у которого в руках уже карабин второго вахмана. Бежим не по полотну, только под вагонами, через сцепки, ныряя под стрелу огня. Сейчас тело Ниманна работает, как хорошая машина, я успеваю подумать, что впервые в жизни его мускулы заняты нужным делом. Расчёт замечает нас с десяти шагов. Первый номер разворачивает ствол и не успевает, пленный со ссадиной стреляет с колена, навскидку, а я понимаю, что этот человек до плена не в обозе служил.

Второго номера беру я, не буду даже описывать как, просто и быстро.

Пулемёт наш, с этой секунды ночь ломается в обратную, в нашу сторону.

Шестеро с переезда бегут на выстрелы прямо по полотну, кучей, на готовый пулемёт, о котором думают, что он свой. Печерский подпускает их на сотню метров и открывает огонь. Четверо падают, остальные ссыпаются с насыпи в лес. Бежать в лес я им разрешаю, в лесу ночью они не бойцы, а грибки. У паровоза короткая злая возня, туда убежала половина рабочей команды, когда мы добегает, всё кончено. Двое немцев лежат, машинист с помощником стоят на коленях на угле, подняв чёрные ладони и повторяют по-польски одно слово, которое я понимаю без словаря.

— Живи, — говорю ему. — Ты нам нужен живым, пан машинист, ты у нас теперь самый ценный человек на этом полотне!

Часы Ниманна показывают, что с фуражки прошло всего шесть минут.

После боя всегда наступает минута, которой нет ни в одном наставлении, минута звона. Стрельба уже кончилась, а уши ещё не верят, люди стоят и дышат, пар от сорока разгорячённых тел поднимается над насыпью, как над банной каменкой. Потом минута кончается, мир возвращается по частям, стон нашего раненого у третьего вагона, лязг — кто-то уже деловито собирает оружие убитых, проверяя затворы. Голос Печерского, негромкий и оттого слышный всем:

— Оружие — ко мне, к будке, в одно место, посты — на переезд и за хвост, немедленно, вместо их постов.

Никто не празднует. Некому объяснять, что рано, эти люди знают про «рано» больше любого устава.

Я иду вдоль состава считать своих мёртвых, ещё чужих, работа есть работа. У тормозной площадки задерживаюсь над молодым шарфюрером, которому полчаса назад подарил «главное направление». Он так его и держал, главное направление, лицом в лес, до последней секунды не понимая, что война пришла у него из-за спины, из запёртого вагона, который он вёз.

«Жаль ли мне его? Спросите, что полегче. Мне восемьдесят шесть лет, из них сорок я читал протоколы. Я навсегда разучился жалеть конвой и научился жалеть время, потраченное на жалость к конвою».

Потом открывают вагоны, вот про такое надо честно.

Я представлял себе такую минуту, пока шёл вдоль состава, что-то вроде света и воздуха, двери настёжь, свобода.

В реальной жизни выходит иначе. Двери отъезжают одна за другой, лязг катится по составу, но из вагонов не выходят. Из них выдавливаются, выпадают, выносят друг друга, люди шуряются, держатся за створки, за чужие плечи, многие не понимают по-русски, многие не понимают уже ни на каком языке. Женщина в хорошем пальто ходит вдоль насыпи и всем подряд показывает фотографию. Старик становится на колени у полотна и раскачивается. В седьмом

вагоне остаётся сидеть человек, просто сидит в глубине, на полу, среди узлов, и не выходит. К нему лезут, тянут за рукав, он мотает головой, он не верит открытой двери, открытая дверь в его жизненном опыте — хуже закрытой. Переубедить его словами сможет только время, которого ни у кого нет. Его выносят на руках вместе с его недоверием. По насыпи от будки уже идёт цепочка с котелками, самое важное сейчас, вода передаётся из рук в руки вдоль всего состава. Звяканье дужек об эмаль на ближайший час становится главным звуком ночи, важнее любых команд. Ребёнок, тот самый, я почему-то уверен, что тот самый, из щели пятого вагона, стоит у колеса и смотрит не на лес, не на людей, только на меня.

На мою форму. Я отхожу к будке, в тень. В этой форме сейчас нельзя стоять на свету, не потому, что очень опасно. Потому что нельзя.

У четвёртого вагона, где никакого тифа, разумеется, нет, а есть теснота, жажда и двое умерших ещё в дороге, уже работает Печерский. Вот теперь видно, что он такое, не оратор, не герой с плаката, просто хороший организатор. Негромкий голос, короткие фразы, пленные уже стоят цепью, уже разбирают людей по вагонам на десятки, уже несут воду от будки в тех самых котелках, которые я выписал вахманам под санитарную обработку.

Порядок создан из хаоса, за сорок минут, без единого лишнего слова. Я смотрю на его работу с чистым профессиональным удовольствием, как смотрят на чужой красивый почерк.

Теперь считают потери. Одиннадцать убитых очередью через стены и в давке, десятка два раненых. Из наших убито трое и трое ранено, отличный результат для этой ночи.

«Все же я неплохо разогнал конвой, иначе бы потери были в разы больше».

Одиннадцать? Я гоняю данную цифру по кругу и заставляю себя поставить рядом другую, ту самую, что была в расписании — почти две тысячи уже к полудню. Эти одиннадцать тоже входят в две тысячи. Арифметика — вредная привычка, но сегодня она явно на моей стороне. От такого легче не становится, но становится тише.

Первым в тень будки приходит не он, приходит высокий, со ссадиной через бровь, тот, что снял пулемётчика с колена навскидку. Приходит правильно, с карабином наперевес, не один, с двумя своими за плечами, еще встаёт так, чтобы будка отрезала мне отход.

«Грамотно встаёт. Явно кадровый», — понимаю я.

— Оружие на землю, — говорит он.

Спокойно говорит, без ненависти даже, просто по-хозяйски, как говорят человеку, чья очередь подошла.

— Медленно.

Кладу карабин к ногам. Спорить с ним нечем, да и незачем, на его месте я поступил бы ровно так же, только еще раньше.

— Капитан Зорин! — окликает от состава Печерский, не повышая голоса.

— Он эсэсовец, лейтенант! — Зорин не оборачивается, смотрит мне в переносицу. — Что он тут устроил и зачем — разберёмся после. А пока я не понимаю одного, почему он до сих пор живой, и меня это, честно скажу, беспокоит.

— Расстрелять всегда успеем! — говорит Печерский. — Успеем, капитан. Сначала пусть выведет людей.

Зорин думает. Думает он основательно, секунд пять, глядя на меня так, как смотрят на подозрительную накладную. Потом опускает ствол, не убирает, именно опускает на ладонь, пока только в долг. Потом произносит фразу, которую, я чувствую, мне предстоит слушать до конца этой войны:

— Живи пока, — и уже уходя, через плечо: — Но очередь твоя не пропала. Очередь твоя за мной.

Печерский находит меня в тени будки сам. Подходит, встаёт рядом, не глядя, мы оба смотрим на состав, на людей, на костерок, который кто-то уже развёл у штабеля шпал вопреки всякой маскировке, но гасить его ни у него, ни у меня не поднимается рука.

— Спрашивать, кто ты, надо полагать, без толку, — говорит он.

— Пока — да, — соглашаюсь я. — Ни к чему вообще. Мундир я не сниму, так надо. Приставь ко мне двоих своих.

Он кивает, не соглашаясь, а пока откладывая, я вижу разницу, данный вопрос у него никуда не денется, он просто убрал в вещмешок до лучших времён. Некоторое время стоим молча. У костерка кто-то из освобождённых заводит вполголоса песню — не нашу и не здешнюю, старую, тягучую. Но её тут же, на втором такте, гасят соседи, тихо ты, лес кругом. Печерский слушает оборванный такт с таким лицом, что я решаюсь на вопрос сам:

— Твои — из какого лагеря?

— Минск, лесной лагерь, — отвечает он ровно. — Кадровые, почти все с сорок первого в плену.

— Возили нас, — он усмехается без веселья, — как особо ценный груз, отдельный вагон, пересчёт дважды в день. Немцы народ хозяйственный, зря ничего не возят. Мы всю дорогу гадали, на какую работу. Теперь понимаю, что работа предполагалась короткая.

— А остальной эшелон?

— Гражданские. Минское гетто, кого ещё не... — он не договаривает, и не надо. — Старики, женщины, дети. Мы их через стенку слышали двое суток.

— Знаешь, что самое тяжёлое в плену, командир? Не голод. Слышать через стенку детей и сидеть смирно, — он поворачивается. — Поэтому не спрашивай, почему я тебе поверил за семь секунд. Я не тебе поверил, я поверил, что хуже, чем по имеющему для нас всех расписанию, уже не будет.

— Хорошо, что поверил. Пока эти люди спасены. Сейчас бы уже задыхались в газовой камере, — благодарю его я.

— Тогда говорим по делу, — он поворачивается, я вижу, что решение у него уже готово, он пришёл не советоваться, а распределять работу. — Здесь почти две тысячи людей. Треть никуда не дойдёт и до утра, потому что старики, дети и больные. Идти им некуда, есть просто нечего, оружия — всего двадцать стволов с ограниченным боекомплектom. Правда, есть пулемет и к нему шесть сотен патронов. К рассвету нас хватятся из лагеря, к полудню здесь будет всё, что у них есть в округе. Ты знаешь местность, ты знал мою фамилию, ты знал про пулемёт.

Я киваю головой, что все знал.

— Значит, знаешь, что делать дальше. Говори.

И я говорю, потому что знаю. Полтора часа назад, в купе, листая бумаги Ниманна, я нашёл среди накладных документ, от которого у меня, старого архивного грызуна, дрогнуло сердце. Требование на довольствие, станция снабжения, шесть километров по этой самой ветке. Там есть склад. Продовольствие, вещевое имущество, аптечный пункт, гарнизон — двадцать тыловиков при одном обер-фельдфебеле.

— В шести километрах отсюда — немецкий склад, — говорю я. — Хлеб, консервы, шинели, медикаменты. Охрана — двадцать человек писарской команды. К рассвету он должен быть наш, брать его будем красиво. Я подъеду туда с эшелоном и приму объект под карантин, а ты войдёшь с тыла и объяснишь гарнизону новую санитарную обстановку.

Печерский смотрит на меня долго. Потом впервые за эту ночь у него шевелится угол рта. Не улыбка ещё, но уже черновик улыбки.

— Из чего выбирать, — говорит он. — Теперь есть из чего. Хотя бы накормим всех еще один раз досыта. И на двадцать фашистов станет меньше.

— На двадцать уже стало меньше, пусть не все они были немцами, — напоминаю ему я.

— У нас трое пленных. Что с ними делать? — еще вопрос, который меня немного удивляет.

— Прощать нельзя, перевоспитывать нет смысла, отпускать тоже. Если украинцы, которые «травники», тех повесить. Лучше бы на длинной веревке, но времени нет. Если нет —

просто на колени и пулю в затылок, — подумав, отвечаю я. — И всем на грудь бумагу, что исполняли преступные приказы нацистских преступников.

— Хорошо, так будет правильно, — соглашается Печерский. — Только бумаги нет.

— У меня есть. Я напишу и повешу, — обещаю ему.

И уходит распоряжаться, а я смотрю ему в спину, впервые понимаю по-настоящему, что я наделал этой ночью. В моей истории этот человек за три недели поднял восстание в аду с шестью сотнями измученных людей, изнутри проволоки, без единого шанса. Я украл у него те три недели. Взамен я, сам того не планируя, выдал ему задачу, за которую не взялся бы ни один штаб. Провести две тысячи гражданских, стариков, женщин, детей, больных через оккупированную страну, через облавы, через наступающую зиму, провести туда, где их примут и спрячут.

Восстание пока длится всего один час. Это спасение будет длиться месяцы. Историки, если доживём, пусть сами решают, какой из двух подвигов больше. Я для себя уже решил.

За спиной у нас, у всего состава, кто-то из бывших пленных вслух пересчитывает трофейное оружие. Но тут второй человек во мне, который не отдыхает никогда, дёргает меня за рукав и заставляет проделать собственную арифметику. По ведомости при эшелоне двадцать один. Считаю, как учили, по местам, у вагона легли трое, ефрейтор и двое вахманов, расчёт у пулемёта — двое, у паровоза — двое; на переезде — двое, ещё четверо из хвостового сцепления, выбежавшие на выстрелы прямо под собственный трофейный пулемёт. Тринадцать убитых. Сдались трое, двое молодых с котелками у будки и один с переезда, бросивший карабин раньше, чем его о том попросили. Четверо ушли в лес на восток — их видели. Тринадцать, трое, четверо, всего двадцать. Машинист с кочегаром не в счёт.

Двадцать один по ведомости, но всего двадцать по счёту.

Ищу глазами по насыпи, по теням, по вагонным чёрным проёмам и не нахожу того, кого недосчитался первым, ещё до всякой арифметики, просто по холоду между лопаток.

Среди убитых нет Грота. И в лес на восток уходили четверо, а он нырнул под вагон на запад.

Если на запад — тогда это к лагерю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.